# 447.

**А. А. Воейковой**

*<19 ноября / 1 декабря 1820 г. Берлин>*\*

Возможно ли, Саша? Почти полтора месяца, как я в Берлине, а от вас нет ни строчки! Я не позволяю себе бояться, не хочу останавливаться ни на чем страшном; но поневоле боюсь! Что Маша? Но я в самом вашем молчании нахожу нечто успокаивающее! Если бы что-нибудь дурное случилось — вы бы, верно, написали! Когда всё счастливо, тогда еще можно лениться; но беду поневоле надобно разделить. Итак, надеюсь, что всё кончилось счастливо, что Маша радуется своим ребенком, что ты была у них и теперь возвратилась, и что мой Тургенев у тебя часто бывает по вечерам, и что я не забыт в вашем обществе. Знаешь ли, как меня радует мысль, что ты с ним подружилась: ему так же, как и мне, нужно соседство такой души, как твоя! Он в Петербурге весь истратился, и если не так пропал, как я, то это оттого, что у него более, нежели у меня, капиталу! Но, лучше сказать, его капитал весь цел, но только без употребления! а я, кажется, свой истратил и ничего себе не купил! Я уверен, что он с тобой проводит счастливые минуты, и радуюсь этому сколько для него, столько и для себя: ты соединишь нас еще более! Наша дружба не уменьшилась, и ей уменьшиться не можно — но она сделалась похожа на нашу жизнь, получила какую-то вялость, недеятельность; будь ее животворным Гением; никто меня так не любит, как ты, и, признаюсь, никто так не оживляет теперь моего сердца, как ты: когда о тебе раздумаюсь, то всё лучшее, поэтическое зашевелится в душе; итак, говоря обо мне с Тургеневым, ты и в его сердце воскресишь если не дружбу ко мне, ибо она не умирала — но всё то, что оживляло эту дружбу: мы с тобою всё делили и в лучшие минуты (то есть не в счастливейшие, а в такие, в которые был сам лучше) были свидетелями друг друга; итак, мы друг друга знаем коротко и никогда не можем ни в чем быть розно. Мысль о тебе сохранила для меня всю свою свежесть; если бы надобно было нарисовать портрет земного счастья (идеального), я бы послал живописца к тебе! Я не намерен тебе описывать ни моего путешествия, ни того, что здесь делаю. До сих пор было для меня мало интересного; Берлин — Петербург, всё равно! Переехав сюда, я только перешел с одной квартиры на другую.

Я мало бываю в обществе; мало сделал знакомств, и зимние месяцы, которые здесь весьма неприятны: снег и дождь, дождь и снег, — посвящу на то, чтобы приготовиться к моему путешествию, которое во сне и наяву меня занимает1. Я окружил себя книгами, читаю и выписываю, хочу теперь всё собрать, что для меня нужно, чтобы быть совершенно свободным для наслаждения *настоящим* во время моего странствия. Это работа займет меня еще месяца на полтора, то есть до половины генваря — остальное время, т. е. генварь, февраль и март, употреблю на то, чтобы всё то, что здесь достойно примечания, увидеть! С 1-го апреля начнется мое странствие и продолжится, может быть, до конца октября. Я называю это путешествие истинным занятием: оно должно иметь на меня благодетельное влияние; но я не хочу и думать о будущем; поживу в настоящем и в прошедшем; а там что Богу угодно!

Однакож надобно поделиться с тобою одною прекрасною минутою, которую я здесь имел. Между прочими (немногими) знакомствами, которые здесь я сделал, самое приятное есть с стариком Гуфеландом2. Я провел у него вечер прекрасный! Встреча с человеком по сердцу есть то же, что взгляд с горы в ясный день на прекрасную, живописную равнину3: всё, что есть хорошего в сердце, оживает; обо всём, что мило, вспомнишь смутным и вместе ясным образом; надежда на самого себя оживится, почувствуешь себя лучшим. Вообрази себе важного немца с спокойным глубокомыслием на лице и с милым выражением прямодушия и доброжелательства в улыбке: таков мне показался этот старик, и что-то меня дернуло к нему в первую минуту. Я пробыл у него целый вечер, в толпе людей, и, несмотря на обыкновенную свою дикость, проговорил с ним так, как случается часто говорить с Карамзиным, то есть от души; то есть с тем чувством счастливой любви и доверенности, какое всегда имеешь к Карамзину, когда его слышишь и понимаешь. Прощаясь со мною и пригласив меня к себе опять, он сказал: «Kommen Sie wieder, Sie haben mich sehr erfreut»[[1]](#footnote-2) 4. Эти слова были для меня музыкою, которая во весь вечер отдавалась в душе; но странное дело! музыкою меланхолическою: невольная грусть была во мне и хотелось плакать! Как это изъяснить? Правда, теперь всякое живое чувство производит во мне это действие. Живые чувства у меня редки; жизнь растрачена даром.

Уж лучшего ждать нельзя: «Das Schöne ist doch weg»[[2]](#footnote-3)!\* — говорит Валленштейн, думая о убитом Максе5.

Но куда меня бросило от Гуфеланда? Это письмо для тебя одной и для Тургенева; следовательно, всё можно писать без обдумыванья. К Тургеневу я не пишу именно оттого, что когда я пишу к тебе, то думаю и об нем. Описывать же мне нечего. Самое для меня важное было во всё это время одно: это свидание с Гуфеландом; ибо оно во мне произвело чувства, давно не бывшие во мне; остальное — китайские тени. Нужно ли их описывать? Нужно ли вам описывать, как обедают у короля, какой архитектуры дворец, что я видел в Академии художеств — об этом говорить мне! Когда буду ехать по берегам Рейна и бродить по горам Швейцарии, тогда буду болтливым, тогда писать к вам будет для меня необходимостью.

Но ты напиши мне о себе: часто ли видишь Карамзиных? Скажи им от меня всё, что бы ты от себя сказала самым милым для тебя людям. К ним писать буду, но только не из Берлина. Екат<ерину> Анд<реевну> и другую милую Екат<ерину> поздравляю с днем ангела, и твою Катьку6. Бываешь ли ты у Нат<альи> Фед<отовны>?7 К ней буду писать из Швейцарии; она знает, из какого места; но только попроси ее, чтобы она прислала мне имя той деревни, которой рисунок у нее видел; если буду близко, то непременно буду и в этом месте8. Прошу ее меня помнить, а тебя прошу бывать у нее часто; она имеет прямо добрый характер, и с нею можешь быть всегда искренна. Прости, милая.

1. Приходите снова, Вы очень меня порадовали! (*нем*.). [↑](#footnote-ref-2)
2. Прекрасное прошло! (нем.). [↑](#footnote-ref-3)